

Виктор ПУЛЬКИН,

член Союза писателей России,
Заслуженный работник
культуры КарелииСеверная
Фиваидазаонежские
легенды

Зодчими
духовного устройства
тысячелетнего Русского Севера
с XI века стали православные инохи.
Как некогда в египетских Фивах,
зародилось здесь пустынножительство.

Расцвели в таежных дебрях, на озерных и морских берегах
заселенные укромные обиталища, по сию пору трогательно называемые
«пустынками» и «палестинками» – очаги просветительства и духовного горения.
Что же помнит крестьянская обыденная речь и древнее «искусство памяти» – фольклор.

Один из его жанров – православная легенда. Умей услышать...
Тексты воссозданы по мотивам бытующих поныне русских, карельских, вепсских
народных легенд и текстов подлинных житий.

Первая часть цикла «Северной Фиваиды» посвящена старцам Приладожья
и была опубликована в «Севере» – 1993, № 10; 1998, № 2. «Северная Фиваида» написана
по благословению Высокопреосвященного владыки Мануила,
архиепископа Петрозаводского и Карельского.

Па́раскеви́н дे́нь

Типиницкая легенда

Н.А. Криничной

Тускнеет синий серп на еловом крюке в хлебном амбаре. Остывают сосновые полы-зени гумен после жаркой страды. В меженную пору – между летом и зимой – вздымается со бела гнезда снежная лебедица. На полнеба раскрывает крыла. Припевает нежно – будто повевает ветер: «На Русь полечу, в деревнях погощу. Уж поем пирогов, сладких колобов!»

Заметает зима-лебедь белым перьям нивья, кулишки, родимые сеножати. Устилает усталую землю тёплым пухом. В конце октября, а по-новому – 10 ноября – расцветал у нас старинный обычай. Несли девы, молодки свои прялицы узорные – резные да расписные – на первые «прядимые беседы», «Параксевины вечеринки»...

Всю-то жизнь помнят о былых посиделках белые старушки. Те, с которыми я беседовал в Заонежье много, много лет тому назад...

– Сбежимся мы, девы толстопяты, в беседную избу. Запалим лучину. Содвиннемся – и с прялицами – во единый круг. Заговорят веретена. Завьются льняные нити, конопляные, шерстяные. Верили мы, досульные девы, – это сама жизнь наша завивается на годы вперёд. Кому что выпадет: золотом ли обовьётся крученая нить. Скатным уножится жемчугом. Или прятнется суриной, истлеет в сером портне.

Чтобы не изобиделась матушка Параксева, станем вспоминать, кто и что про неё знает-помнит. А голосишки дрожат, в губёнках крови нет. Одна скажет, другая подхватит:

– Матушка Параксева родилась в давние веки на тёплых морях у боголюбивых родителей. Явилась на свет в день страданий Христовых – аккурат в пятницу. Оттого и прозванье её – Пятница! Жила дева непорочно, честно.

Стемнеет на дворе. Парни у подоконья виснут, маются. Мы на заложки закроемся. Охота ведь нам, девам, своим кругом святую Параксеву Пятницу вспомянуть.

– А сидели тогда на престоле цари немилосердные. Язычники лютые, беззаконные. Чиста была Параксевушка, как перо белое, лебединое. Не восхотела жениха иного, кроме как Небесного. Пришлй в девичью светличку нечестивые язычники, обуянные бесами возопили: «Принеси, дева, богам-кумирам жертву!»

– Рвали тело белое железными крючьями, распинали душу. Но зарастали кровавые раны, не иссякла её Христова Вера. Отрубили голубице голову мечом.

В страхе-ужасе повалимся при этих словах друг

дружке на плечи. Души слезами омоем. Попрядём – и опять которая-нибудь из тёмного угла провещится, продолжит печальную повесть:

– Но и после смерти возрождённая из тьмы в свет горний ходит мати-Параксева по лицу земли. Видели её и сказывали: станом высока. Глаза словно звёзды. Над челом – венец: цветы простые, полевые. Мы и ныне икону, бывает, украсим полотенцами, убрусами ткаными. Узор больше цветы и травы...

Потрескивала, скорая, лучина в кованом светце. Роняла черные угольки. Возгорался ярко огонёк – жёлтый, как весенний первоцвет. А до весны-то ой как далеко!

Положен на вечерине ведомый запрет. В день православного праздника святой великомученицы Параксевы Пятницы нельзя нам прядь лён, а особенно – остистую коноплю. Пыль от них. Кострика летучая, колкие изгребы. А ведь в этот день – свято велили в деревнях – сама премудрая Параксева невидимо, не въяве, ходит от избы к избе, мягко ступая по первоснежью. Метелицей въётся от села к селу.

А подымется на крыльце, отворит дверь в жильё – и ей кострика будет не по-люби. Привяжи к лопаске, даренной отцом ли, суженым, узорной прялицы тонкую овечью шерсть тканым пояском-приузом. Приколи кудлю гранёной иглой. Завьется в Параксевин день первая волшебная ниточка. Завяжется и судьба.

...Было в молодости в деревне Типиницы, это в Заонежье у нас, от Кижей не гораздо далеко. Мы о Параксеве заговорили: скоро, мол, её день! А молодка, взятая к нам из залесной деревнишки Кибитка, Агаша именем, на Параксевин праздник аккурат на беседу прибежала. На ней сарафан – костыч кубовый. Спереди прошва с тринадцатью звончими пуговками: каждая пуговка – что бубенец. На головушке кокошник жемчужный с рогом! Шит по наушням златом-серебром: каргопольская, слышь, дорогая рабоча! На плечах у Агаси – белый плат льняной, выложенный золотой плоской битью, шит кручёным на шелковой нити золотом. Из богатого дома молодка.

Глянула она исподлобья лопской лещачихой:

– Всем, девки, что ни есть в избе, да и в самой женской судьбе правит страшная Запечельная Мара! Вы меня слушайте. У нас, во славной Кибитке, и сроду колдуны живут. Они от лопских чародеев знание переняли. А я – от них!

Ужасти, до чего.

Оглянулась Агафыца победно и пристально. Прялицу еловую, резной узкий копыл, состукнула-обрякнула на лавицу. На пряличный подгузник села, как стог. Расщеперилась Да и ну коноплю привязывать! Кострика

по избе веется. Девы и слова не замогли сказать. А кибитчанка – ничего, прядёт себе, позыркивает.

...Слыхали и у нас про Мару Запечельную. Бабушки, бывало, прялицу, не закрестив, на ночь не оставляли. Всем ведомо: если не призовёшь с кротким сердцем Параксеву-печальницу да не положишь на припечек что ни на есть железное – ножик ли, подкову или топор, тут Вечная Мара с печи радошно соскочит, куделью спутает, изорвёт. Веретёнышко сломает, прядлище малое – и то в угол укатит, не сыщешь. Страху-то!

Мара ветха. На печи сидит-попрыгивает, куделью сучит-позыкивает. Веки вечные на род человеческий сердится, седая! Дедушке домовому Мара не чета. Домовой хоть и нечистая сила, а добёр. В несчастье упредит. В голос во дворе жалобно взывает: «Ох-ти беда припала!» А то палочкой-коковицей в запечье постучит: «Укрепись, хозяинушко!»

Мара не такова. Ниточку кудели потянет, да с глумным посмехом. И – оборвёт! Ни с того ни с сего шалое дерево повернётся, не туда, куда надо падёт. Мужика погубит. Оно, конечно, всякий знает: есть в лесах заговоренные деревья. Беспременно им надо человека сгубить. Запечельная старуха домовая и с лешаком в лихом словоре. У нас оттого чего и не случалось. Охотник в лес побежит – его медведь заломает. В Онего рыбака лютый взводень захлестнёт. На ниве бабу змея жогнет, серый гад, – и нет у детей матери. А Мара новую ниточку завивает, сучит...

...Попряла Агаша до полудня, а день-то об ту пору скоро сгорает. И почала она роток почасту отворять, што ворота. Зевается молодке, да и всё тут. Нашёл на неё могучий сон. Склонилась Агафья на прялицу-коковицу, писанную цветами-букетами. Задремала. Сронила с веретенца каменное прядлище, застучало оно по половицам. Примета, конечно, не гораздо хороша.

На ту пору растворилась дверь. Вступила в беседную избу сама матушка Параксева. На ней не веночек – клубок высокий вздет, шитый из дублённой овчины. У нас скажут: шубный колпак! Глубокий – сзади на шею спущена фата овчинная. Носили у нас в старину те, которые в семье славутницы-большухи. В полушибуке Параксева, кушаком каргопольской работы подпоясана: гарусным, с многоцветными кистями. На ногах у неё валенцы расписные кенозерской доброделательной работы.

Забилась за чёрную печную трубу, за дымоволок

Мара. Известно: нечистой силе бесу-хороможителю при святой голоса подать невмочь: Христос не велит! А Параксева-матушка прямёхонько к дремлющей Агаше направилась. Глаза Параксевини угрозны. Собрала она тонкими перстами колкой кострики с полу, да и ну посыпать спящей молодке в глаза – колко, больно, страсть!.. А сама чуть не плачет. За порог соступила, по сеникам прошла, на резкое крылечушко и выстала. Прошла по двору как ветерок – снежка не стронула. Столь, голубушка, легка была!

Но только Параксева в проулок завернула – завозилась у чёрной дымницы Запечельная Мара, захочотала охально. Тут и беседницы-девы очнулись от наваждения, почали Агашу укорять:

– Ах ты, окаянная! Заслужила от матушки Пятницы наказание. Што! Кланяйся теперь Маре, избяному полохалу! Пусть тебе глазыньки-то пропустит, греховоднице!

Стемнело в избе. Запалили в светце лучину. Зажил-зашаял живой огонёк, запахло сосновой смолкой, как в июльском бору: уютно и приветно...

Не стала Агафья-кибитчанка бесиных Запечельной кланяться. Параксеве взмолилась:

– Матушка! Прости меня, срамницу-грешницу. Не стану я более в твой святой день коноплю прясть, изгребы, кострику трясти!

Молит молодайка о прощении, слёзы льёт. Тут двери растворились. Вошла, как и давеча, Параксева – лик в слезах, как в жемчугах. Видно, сжалась



над непутёвой бабёнкой. Смочила пречистыми слезинками персты, по глазам озорнице провела. Кострика из очей и повылезла.

…Простила Агашу святая великомученица Параскева – да и наградила. Многие годы у Агафьи что хлебы в печи, что ребятишки на печи восходили высокие да румяные. Скотинушка выгуливалась завсегда весёлая. Холсты ткались белые. Красные заузорицы-прибасенки на них – всех на селе краше.

Про вышивку Агашину и поболе сказать надо. Она у кибитчанки – многоцветная жила! Как вот у пудожских, каргопольских мастериц – затейная. Птицами и зверями удивлена. Домами-теремами, красными девицами, добрыми молодцами на борзых конях. На Агашиных полотенцах-настильниках, окрай станушек-надевальниц – вся как есть подвселенная живёт, краса земная и небесная. И солнце восходит, и звёзды кружатся, и луна печёт! Неутолимо светит млад-ясен месяц. Самолучший убрусец Агаша завсегда по осени на Параскевин образ в горнице повесит. Лампадку затеплит. Другое полотенце в церковь отнесёт – в даровья святой. В трапезной у паникалила сладку желту репу положит в прястень самолучшей шерстяной пряжи, да клюквы-журавины берестяной туяс. Параскеве-великомученице честь воздает кибитчанка-кудесница. За доброе – добром.

Известно – не согрешив, от сердца не покаешься.

У Агаси, помнят типиницкие, не только скотинка во дворе, хлеб в поле, узорочья в плятах – добро чистое. У неё и муж в её воле, как добрый конь в узде, ходил.

Вот привиделось однажды Агаше в тонком сне. Пришла будто Параскева Пятница, да столь ласкова, приветна. Сарафан со звончатыми пуговками подобрала. На рундук у печи села – как тут и была век:

– У тебя, Агафыца, супротив избыного чела родник подземный жив! И скажи мужу: пусть колодец сотворит. Вам, типиницким, далеко от озера воду носить!

Молвила – и за порог: из избы дверьми, со двора воротами, по взъезду спустилась на траву-мураву, к выгону свернула, к жердянику перелазищу. А супротив избы её веночек из васильков остался лежать. Чуть копнули – и вправду родничок забил – Живая вода!

Ведомо от веку: святая Параскева не только прядеву, но и течению вод прямая хозяйка. Мужик Агашин потрудился для общества: срубил осиновый сруб колодезный, начал повенечно тот сруб-посомку опускать в землю. Как двенадцатый венец положил – тут вода шибче зажурчала, наполнила срубец до краёв, как ендова. Не надо ни журавля надколодезного становить, ни бадейки на тяжёлом вороте опускать: хоть через край приходи и пей! Водушка чистая, как слеза

ангельская. Летом студёна, зимой сроду не замерзнет. И круглый год пахнет весенним берёзовым листом.

Параскевин пречистый дар раскаянной грешнице. Вот что оно делает, покаянное-то слово!

Д и к о в и н н ы й р я д

Сенногубская легенда

Максиму и Артему

Русское летописание помнит прозвище граждан Великого Новгорода – «плотники». Так называли новгородцев на Руси на заре нашей истории – в XII веке. В Заонежье близ Сенной Губы здравствует деревенька Кузнецы. Мы отвеку рукомесленный народ.

Северяне, потомки древних новгородцев – лесные пахари, арктические мореходы, сказители и подвижники православия, – берегли вековечное умение, учение, благочестие. В беседах с ними слышу отзвуки речений времен Киевской Руси, сокровенных бесед античных философов, предтеч христианства. Внимаю впитанной земляками мудрости Ветхого и Нового Завета.

Освоение лесных просторов Русского Севера – преддверие последующего пути предков «встречь солнцу». В Даурии, в Прибайкалье видел осьмигранную башню Братского острога, рубленную плотниками той же мёрай и красотой, что и у нас на Онего-озере. Поставили её землепроходцы четыре века тому назад… Весело стучали топоры «натодильных» артелей от Балтики до Тихого океана. Традициям древоделов сопутствовали навыки крестьянских рудознатцев, доменщиков, кузнецов. Рубили «на древяно дело» отменными топорами: славился наш уклад – домодельная сталь, выработанная в деревенской кузнице. Ремесленные искусства переживали времена всплесков и затихания. Неисчислены доныне дожившие храмы и хоромы.

Проходя деревнями, выселками, сёлами и городами от Великого Новгорода до Белого моря, всюду слышу отзвуки стародавних легенд о святых подвижниках – местных и живших за далёкими морями. На Русском Севере часовни, церкви посвящены и святым, почтаемым как покровители ремёсел и умений, искусств – плотницкого ли, кузнечного, ткацкого или лечебного. Таково святые: Николай, Косма, Дамиан, Параскева и Пантелеимон, иные.

Северные сёла, «посвятившие себя» тому или иному ремеслу, а соответственно этому и храм свой освятившие, были тем сродни знаменитым средневековым цехам. Так, с берегов Ваги-реки исконно расходились по всему Северу отменные пастухи-«ваганы». В их родных сёлах были церкви, посвящённые святым Влад-

сию, Флору, Лавру. Из Заонежья шли в большие города краснодеревцы, плотники, кузнецы. Из прионежских селений – «масы»-стекольщики и знаменитые каменотёсы-«словорубы». Пространный край видится огромным Городом Мастеров, людей предпримчивых и смелых, обладающих «розмыслом» – по традиции же – трезвым: «перед рюмкой гордились, лишнее выпить – руку испортить, худу славу нажить». При этом жил здесь старинный обычай братчных пиров, совместных «щеховых» праздников, где было место мудрой беседе и заединой песне. Для таких общественных сходок и прирубали к храму просторную трапезную, оснащённую лавками.

Там сказители сказывали, а добрые люди слушали жития святых и легенды о славных мастерах...

– Кижский собор рублен из самолучшего бору. Да и топоры – ведомой кижской работы. Кузнецов в окруже помене, чем, скажем, столяров до плотников. Но тоже немало.

Жил, говорят, в преждебывшие годы у нас славутный мастер. Узорные дверные петли-жиковины ковал. Случалось ему выделявать и перстни-жуковины. Кольца витые для дверей – да и со стукальцами гранёными. И теперь ешё поблескивает на дверях старобытная поковка. Серпы звонкие с узором по клинку, с серебряным бубенчиком на пятонке еловой рукояти. Замки внутренние с фигурной накладкой на полотне двери – вроде секиры. Под её стальной сквозной узор – цветочный и травный – подложат блискучую мусковит-слюду. Сроду ничего такой поковке не деется. Не ржавеет, не сыплется. Долгий век красоваться ей на дверях амбаров, церквей.

Избы у нас не запирали. Коли умёлся куда хозяин – он палочку к косяку прислонит. Берёзовый посошок, рябинову клюку. На столе в избе – кринка молока, хлебушка ломоть. Соль в берестяной солонке-утице. Кто из соседом придёт – тросточку узрит: «Потом приду!» А ежели у тебя издалека прийдено, странник ты, калика удалая, перехожая, – в избу войди без сомнения. За стол сядь. Богу помолясь, поешь и попей – что на столе видишь. И дале сойди, куда тебя Бог несёт. К Соловецким ли угодникам – к северу, в полуденные ли края – к святому преподобному Александру Свирскому ли, далее – в Киев.

Ну, так про кузнеца-то! Его дедушком Василем звали, он из Трепалиных... Трепалины в Заонежье и теперь есть. Дожил до дивней старости. Делал тонкую работу. Не гнулся лемех оттянуть, коня подковать.

Человек на селе необходимый. Но вот, случилось, приподнял он коневье копыто. А не удержал, уронил. Ушла былая сила во сырую землю, в горячее железо, во Онего-сине морюшко. Поработано на веку у Василья и веслом, и плугом, и молотом. Не воротишь дней... Заплакал старинушка. Да вдруг окликнул его кто-то.

Оглянулся дед Василий – два молодца стоят, как зажжёны свечи горят. Глядят ясно и пристально – как заботные сыновья. Ликом-образом как будто знакомые, а где видано – не вспомнит кузнец. «Давай-ко пособим!» – ребята сказывают. Подковали конишку. Лошадушка веселёшенько из кузнецкого станка повыбежала. Новыми подковами притопнула. Рассмеялась по-коневы: «Йе-е-е!» У пареньков рука, верно, лёгкая. Сила непочатая. Нрав добрый. Глаз верный. И все-то они вместе держатся – плечом к плечу. Уж видать, что кровная родня, у нас скажут – однобрюшники!

Старичонке вусмерть не хочется подмоги лишаться, отпустить пареньков в белый свет.

– Любушки, – говорит, – вы куда правитесь?

– По святым, дедушко, местам! – они отвечают согласно – голос в голос, колос в колос.

– Ну-ко! – манит старик. – У нас тут заливно монастырей, пустынек в Заонежье! Обители святых Корниля Палеостровского, Ионы Клименецкого, родная деревушка самого Зосимы Соловецкого. А что церквей, часовен, крестов обетных – дождём не смочить. Вокруг Кижского острова золотой обруч намолен – святые места, преудивлённо чудо.

– Ведомо всем: Северная Финнада здесь. Мати прекрасная пустынь аж до самого моря дышущего океана. Да мы наладились, старинушка, в полуночные страны, на Савватиев оток¹. В Соловки...

– Остались бы хоть на весну. Да и до Покрова! Помогли бы крестьянушкам страдомым. Надо сашеньки наладить. Косы отбить. Серпы выпрямить. Но по силам мне, старому!

Переглянулись юноши, поклонились оба-два: согласились. Дедушко Василий чуть не плашет от радости: «Сыночки баженые, что за работу возьмёте? А кормить, поить, воспитывать стану задаром!»

– А вот, – они говорят, – станем уходить – напоследях соделаем из твоего мартинула то, что нам самим по душе придётся. То и плата!

Подивился старый такому ряду: диковинный! Да может, теперь так и водится в городах заморских, такая пошла порядня! Согласился.

¹ оток – остров (ярославск. диалект.)

Назвались пареньки Кузьмой да Демьяном. Работали споро и ладно. Будто, знаешь, житые, славутные кузнецы в лучшей поре. Дедушко вокруг них вьётся у наковальни. Показывает, что сам знает. Как крицы ковать. А из криц – сталь-уклад выделявать. Парни старику открыли, как тонкие узоры на железо нанести. Старик, конечно уж, дивится, что дале, то боле. Но помалкивает.

Да они ответили дедушке сами, всё при всём – пословечно.

– Мы, дедушко, родные братия по плоти и по духу. Родом из Азии. Отец наш – природный эллин. Мать – истинная христианка святым именем Феодотия. Она и вскормила нас в любви к Господу. И как та добрая вдовица, которую похвалил апостол, пребывала мама в молитвах и днём, и ночью.

То Кузьма станет сказывать, то Демьян дале продолжит.

– Жила мама богоугодно. Воспитывала нас. Кликала по своему обычая, наречио – как окрестили: Космой и Дамианом. Росли в добром наказании, в христианской вере. Почасту читали Священное Писание. Научились добродетели, отвратившись от языческих эллинских кумиров.

– Вшли в совершенный возраст. Навыкли к непорочному в Господнем Законе житию. Приняли от Бога и учёных людей Запада и Востока дар: великое знание исцеления. Мать велела: «Добре несите людям! Во благо человека тружайтесь!» Заклинала: «Сияйте, сыночки, добрыми делами!»

– И мы с братом исцеляли людей от недугов. Подавали здравие душам. Тела врачевали. Язвы плоти, лукавых духов гнали. Помогали людям. Мать учила: «Благородны те, кто презирает и богатство, и убожество, славу и бессмертие. Те, кто отвергает телесные пороки, саму смерть. Чисты будьте перед Господом». Творили добро, врачевали не ради обогащения златом и серебром. Ради Бога труждались. Не для мирской славы.

– Без мзды, без воздаяния исполняли заповедь:

«взятое в дар возврати даром». Лечили не столько травами, сколько Божиим словом. Приняли имя врачевателей-бессребреников. Земное житие перейдя, благочестиво и мирно скончались. И в один день предстали перед Господом. Но не только в жизни, земной юдоли, но и по преставлении прославились чудесами. Пахаря на пашне, младенца в колыбели, жену сокрушенную, иных многих спасали. Приходим во всякое время по первому зову.

– Да и без зова приходим.

Повествовали сие светловидные мужи краснословно. Дедушко Василий, сидючи против них в застолье, головушку белую поворачивал то к одному изрекаю-

щему, то к другому. После же, помолясь на красный угол, сказал кратко, кротко:

– Перекрестья лоб – и в кузню.

Работали допоздна. Светло им было, тепло от пылающего горна. Старик указывал лёгким ручником, куда ударить. Размышлял, хмуря крутой лоб, о поведанном только что житии, дивясь премудрости Божией. Старушка, женка Василия-кузнеца, затеяла, умиляясь той же думой, стряпню. Напекла масляных калиток, налила маслянушек на сметане, белых колобов и блинцов:

– Нету ноне у баженных-рожоных детушек – Кузьмы да Демьяна – заботной мильй матушки...

И светлые старушечьи слёзы падали в глиняную квашонку.

...Пришло время – кузнец Василий Трепалин утрышком с лавицы встать не замог. Призвал Кузьму с Демьяном.

– Боле не работник я. Оставайтесь. Будьте в кузне хозяевами и мастерами. Вы моё умение превзошли. И людям – всей деревне – по сердцу пришлись.

– Нет, хозяинушко! – оба-два глядят сурово. – Но не расчёт давай, по уговору.

– Много я задолжал! – старик и глаза закрыл. – Вы, ребята, дородное бремя трудом унесли. Перед вами я в долгах, как в репях.



– Нам лишнего не надо. Скуём в кузне, что нам пригоже. Из твоего, слыши, припасу. Вставай...

Што станешь делать? Пошли в кузню, светец засветили и горн раздули. Демьянушко у мехов встал, ожило пламя. А Кузёмушка клещами сощелкнул:

– Ложись, старый, в горн!

– Што вы, чада!

– Худа не будет!

Лёг старионко. «Всё едино, – мыслит, – смертынька приходит». Да хоть старость не радость, да и смерть – не корысть. Напоследок присматривается старый кузнец – что за притча! Не жжёт огонь, не палит. Ребята мехи в полную силу гнетут. Старика в пламени с усердием поворачивают. Цветут в творческой радости.

– Ну что? – кричат, – дедушко! Жарко ли?!

– Как ополодень на поженке в страдомую пору. Испить бы. Ещё жарче – как в кузне в июле.

– Терпи, отец!..

Пуще прежнего раздувают мехи Кузёмушка с Демьянушкой.

– Ох, будто в парной теплой баенке шибает белогорюч пар. Словно веничком по плечам охаживает! – кричит-вопит старый кузнец весёлым баенным кликом. Да и соскочил с наковальни молодым, крепким парнем! Кузьме с Демьяном годок-ровесник.

– Ну, вот теперь дак поработаю! И Богу, и добрым людям. Спасибо, браты-святые!

– А мы – в путь-дорогу, в предбудущие времена. Нас иные добрые люди ждут: есть дела.

Запели они – и за порог. Заонежьем, Поморьем, иными землями Русского Севера не раз ещё проходили. Даром, что ли, древодельцами, кузнецами да песенниками славятся наши края. Воистину сказано: по две жизни жили старые мастера!

И он о в ы г р е б ц ы

Кижская легенда

Духовные поиски предков ярко, полно воплотились в деяниях зодчих-древодельцев. И, может быть, прежде всего – в цветении кижского ансамбля храмов. Язык народного искусства сложен. Не сразу прочитывается глубина, поэзия крестьянского творчества в переливах архитектурных форм.

Несколько лет я жил, работал в Кижах. И всякий день находил для гостей-экскурсантов оттенки, нюансы в облике «памятников деревянного зодчества», сам постепенно постигал меры заложенной в них красоты. Тогда откровением стало для меня

суждение православного священника: облик храма – то же, что образ, созданный кистью иконописца, – Богодухновенное изображение.

На смолёной лодке летом, в санях-розвальнях, на лыжах зимой объехал, обежал окрестности заповедного острова. Малые часовенки, старинные дома смотрят-ненасмотрятся на тридцатитрехглавую семью кижских храмов. Но знаменитый ансамбль – Преображенская, Покровская церкви, перст колокольни – жемчужины, нанизанные на синусоиду окрестных холмов. Красоту их и стать дополняют многочисленные, ещё не вовсе истаявшие деревушки с шатёрками часовен. Дополняют вековечное звучание хором и храмов узорочьем вышивки и ткачества, премудростью памятливой крестьянской речи, живущими здесь песнями, легендами, преданиями...

Стук весла в уключине-греби, сдержаный стук копыт, визг полоза, зов студёной дали слышен в ещё так недавно звучавшей здесь былине – песне нашего героического эпоса. И как сродни народным песнопениям пришедший отзвуком античности акафист – восхваление Божией Матери, Спасителя, святых, на этой земле просиявших.

По мере сил, знаний в те молодые годы я, как и мои коллеги, доносил весть об услышанном в экспедициях, в общении с крестьянами, моим экскурсантам. И вот через годы вновь обращаюсь к своей бывшей теме – сказаниям о подвижничестве заонежских святых. «На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною».

...На Большом Климецком острове стоял и славился честной монастырь. Игуменом там, слыхать, былой купец Иван Климентов, а монашестве – святой преподобный Иона Климецкий. Память его православная церковь отмечает по новому стилю 19 июня. Об истории этого ныне разорённого, а когда-то богатого монастыря меня почасту спрашивали экскурсанты в Кижах. Следов строений былой киновии сохранилось немногого, зато изустная память, легенды о святом сохранились лучше. Стоило только походить по окрестным сёлам, послушать добрых людей...

– ...Было пятьсот лет тому. Играло, искрясь, Онего-озеро. Холстина паруса искала, всхлопывая, добной поветери. Под свежим порывом попутного ветра, словно играючи, ластиясь к волне, обочь ложился удалой кораблик. Округлым бортом вкатывался на блескучую синюю волну. Взрезал её острым штевнем: летели шипучие брызги.

Не коваными гвоздями – вичкой можжевеловой, берёзовым жиловатым корешком сшит кораблик,

малая озерная соемка. Гибок, упруг корпус. Опруги его и штевни-кокоры вырублены из голубой плоти ели. Пазы промеж сосновых тесин, бортовых надбоев конопачены тугой витой смолевой паклей. Борта обложены брусами порубней, огибней. Весла покойно лежат в резных гребях, иногда называемых ёщё и кочетами. Придерживают их тугие вязья из черемуховых ветвей – пахучие гибкие кольца.

Молодой купец Иван Климентов шёл-бежал в Повенец с товарами от Вытегры на полночь, на север. Иные же молвят тому поперёк: будто попадал он, наоборот, от сиверика к полудённому берегу, на юг. Но все помнят согласно: был Иван сыном новгородского посадника, торгового гостя. Наследовал отцово и дедово достояние. Множил богатство великими трудами и купеческой честью. Ходил волоками и чистой водой на Онегу-реку, на матушку Двину. Бывал в волжских городах, шествовал опасными путями – всюду выносил Господь.

Четверо молодых гребцов, скинув цветные кафтаны, вольготно полёживали на клади. На тугих кулях волжского хлеба. На расписных ларях красного тавара. На тюках тонких сукон, персидского шелка. Просторные шали с далёкого Кашмира с головушками до пят укроют красавицу, а каждая такая шаль пройдёт сквозь малый перстенёк.

Плыли над зенью-палубой пряные запахи плодов, кореньев заморских стран. Куплены недорого в пыльной, многогзыкой Астрахани, там, за дальним окоёмом. И веялась за суденышком негромкая песня разомлевших под солнышком гребцов:

Не ясны соколы со гнёздышка вылетывали –
Добры молодцы вставали на резвы ноги!
Провожали мореходов красны девушки,
Лебедицами вздымали белы крыльшки...

Крепкой рукой держал молодой купец правило – рулевую еловую кокору своего кораблика-соймы. Глянул на дружину укорно: «В голымяни², ребята, тоже не песни играть – пригоже вспомнить о святителе Николае, угоднике Божием. Вот скажу, а вы, братовья, слушайте! Отправился он, отец наш, в юные годы теплым морем ко гробу Господню, во Святую Землю. И попал его корабль в лютую бурю. Сорвался некий мореход с мачты, разбился вусмерть о сосновую деку, о зень-палубу».

– На море, известно, едят – не потчуют, умрешь –

не плачут! – заговорили молодцы. – Да и у нас на Онего не слаще.

Озеро поколыбивалось, будто россмехалось. А что станется через малое время – того никто не ведает. Не имеет оно берегов, далеко отодвигается окоём: прошли уже кижским проливом Петуши Воротца. Под острым килем-матикой – несытая бездна. Туда и глянуть торопко: манит коварная глубь, зрит встречу водяная нежить. Тянет сквозистые, узлистые пальцы. И есть там, сказывали нам, крестьянским детям, дедушки да бабушки, царства-государства великие, пребогатые. Огнём горят-шают узорные кровли, шатровы и многоглавые. Цветут сады неземной красоты.

Вспоминая слышанные сызмалу сказания, поприихли гребцы. Вздохнули о горестной судьбине давнего неведомого моряка. Молодой кормщик-купец поймал дуновение ветра. Сильной рукой впряжен в крепкое портно – полотно паруса.

Дале струилась легенда: «Веруй, ребятушки, в Бога нерушимо, свято. И не будет ничего невозможного! Молитвой предбудущего святителя смирилась зельная буря. Мореход же, грянувшийся смертно на десничины, поднялся и, как ни в чём не бывало взялся за кривую парусную иглу: стал счасти чинить. Такова была сила молитвы молодого инона.

Но вот приметил Николай: сверкнул серьгой капитан, зубом блеснул. Велел свернуть к острову, на селённому морскими разбойниками. Но и вновь была услышана усердная молитва Николая, угодника Божия. Спорые повеяли ветры. Вынесло чёрный смолёный парусник к золотому приплеску, к родному корабельному пристанищу».

– Море нам – и мать, и мачеха! – заговорили меж собой гребцы. На водах будь смел, натурист. А то, гляди, и молитва не поможет. Это и здесь, в Кижах, хорошо знают...

Кротко поговаривало под днищем лодейки Онего. Блистало весенним светом – ведь едва загорался на ту пору июнь, и берега белели неотцветшей черёмухой. Ровное свечение рождалось и изнутри озера, вздымаясь, встречалось с сиянием небес: на эту цветут у нас, известно, белые ночи. Здесь, на Онего-озере, продольный ветер-«трубище» хорошо несёт. Ему в помощь приспешут подручные паветерия: от вепсского берега – шелоник, от Пудоги, где вьётся в высоких берегах Журавка-река, совеваю круто ведомые озорники-ветры «Галицкие ерши».

И вновь воскресла на соемке удалая песня, зажила:

² голымянь – открытое водное пространство

— Раздивъя тому, ребятушки, на свете жить,
У кого нету милой подруженьки —
Нет у добра молодца и кручинушки...

Продольный озёрный ветер дышал ровно, сильно, властно. Радовалась душа каждого морехода плавному бегу кораблика. Чуть захватывало дух мальчишеским счастливым чувством воли. На воде — знали-ведали падеды — прадеды прадедов — смиряются ветры силой и ладом заединой дружинной песни. Более же всего люб озерышку нашему баженому напев былины — старины вековечной, сказания о былых богатырях святорусских. Слово, от сердца сказанное, спетое, обронит на сушу и на воде.

А купец, сидя у рулевой кокоры, мерно нанизывал слова древней легенды о Божьем Угоднике. Знаткий был, хоть и обретался в невеликих ещё годах, Иван Климентов: «И вот сошёл святой Николай на родимый берег, благодаря Господа за избавление. И загорелась его страдомая, усталая душа желанием монашеского жития, восхотел он бытия наедине с Господом. Но сказал ему суроый наставник: «Хочешь получить благословение? Прими служение людям!» И стал инок Николай архиепископом града Мир Ликийских, что в Малой Азии. Прослыл святитель сокрушителем языческих капищ Ратоборцем, повержающим духов тьмы, страшных бесов. Имел от Господа Царя Небесного свободу являться людям, яко по воздуху. И многих, многих избавил от смертельных опасностей. Святой Николай Мир Ликийских святитель помогал, помнят, плотникам, возводящим храмы и хоромы, прочные мосты и быстрые корабли. Он всех созидающих благословлял — да и поныне помогает по молитве страждущим».

— Святой Николай от невинно осужденных своей десницей отводил занесённый над ними меч палача. С особым упнованием издавна да и поныне молятся ему моряки и все поглощаемые водами. Ведь и сам он, Угодник Божий, претерпел непомерную для человека страду морскую. Заповедали философы прежних лет, жившие еще до Рождества Христова, заповедь не плавающим только, но всем праведно живущим: «Спасся сам — пожалей бедствующего, протяни руку помощи ближнему!»

— Многие, многие чудеса сотворил святой и после кончины! Знают: неутолимо ходит святой Николай по лицу земли, реками и морями. Помогает праведным. Сказано ведь: «которых весь мир недостоин, скитаются по горам, пустыням, пещерам, скрываясь от неправд по ущельям тверди». Везде и всюду призывает святой — всюду подаёт помошь. Судит наши

дела правые и неправые, сидя одесную самого Христа. Ну-ко, ребята! Не велит нам отеческий закон печаловаться — уныние грех! Заиграем песню... что-то ветер-повитерка вовсе перестал тянуть и крылья опали! Позовем добрую поветерь песенным ладом!»

— Наша молитва слышна Николе, молитвенику за нас, грешных! — заговорили гребцы. — Оно ведь не мимо сказано: кто на море не бывал, тот от сердца Богу не маливался!

...Но вовсе обвистли паруса. «Пала бела тишина!» — и теперь ещё примолят про такую погоду заонежане. Штиль! Сердито взгромели вёслами в гребях молодые гребцы: хмарная пелена застила им путь в кижских проливах. Взял тяжёлый рог Иван, купеческий сын. В эдаком «молоке» не диво налететь на встречную соемку ли, на легкую лодочку-кижанку, а того проще — на лоплянскую долбленную однодеревку-челон! Мерно вздыхаются и опускаются вёсла в мертвящую воду дремлющего Онего. Гулко поговаривают в уключинах-гребях, будят тишину всплесками, отзывающимися в чуть колеблющейся водной пустыне, в прибрежных вересках.

Туман, белый морок застит свет. Тревожный говор гребцов, истомлённых весельной работой, перелетает на ту пору от штевня к штевню... Всё заунывней голос вересовой, пропитанной дёгтем трубы, натуго обёрнутой берестой, глядящей в белый свет раструбом широкого бычьего рога. Остерегись, отстойся, мореход! Там, справа по борту, одесную пути — острый клык каменистой отмели-корги. Глядь, и слева жалеет песчаный наволок.

Две тысячи островов в Онего. Больших, малых, средних. В прилеске прибоя, в шипении волн встаёт встречь сойме лесистая твердь матёрой земли. Грядет спасительный берег — засветная земля Заонежья. Там — покой и родимая приветная речь. И святые храмы. И тихая уединённая, врачующая душу молитва. Наперечёт знает луды, песчаные наволоки, злые корги бывалый, хоть и молодой ещё летами кормщик. Прочны рубленные из дикого елового корня кокоры — воздетые нос и корма. Под килевой матикой закреплён деревянными гвоздями-чурчиками фальшкиль с вынесенным вперёд «конём». Он, брус подводного «коня», первым примет удар о невидимый на отмелом месте камень ли, песчаную луду, чуть-чуть только заплённую волной. Разгульные ветры смирит песня. На белую же, то есть совершенную, полную! — тишину лишь одно средство, от старины идёт, не нами заведено...

— Для богатства купец просит удачи, кормщик корабля молит о доброй поветери. И надо, видно, ребята-мужики, ветрам-сиверам дань дать! — загово-

рили, пряча глаза, гребцы. – Что ж станешь делать... Вот – мачту от пятки до клотика-сороки мёдом намажем с наветренной стороны. И добежим под парусом ладком. А, купец?

– Полну кудесить, бесов радовать! – отозвался Иван Климентов. – Мы, чай, не сыроядцы-язычники, а православные христиане. С нами – вековечная крестная сила, Царица Небесная и Николай Угодник.

Но восстала новая, горчайшая беда. Припали им навстречу супротивные ветры. Ринулись на купеческую соемку, не давая ей бежать дале. С северо-запада учинился силён карельский взводень. От Челмужей прилетели лихие голымянные ветры. Почали вихори кораблик бить-трепать. Не поспели гребцы мачтовое дерево ронить, опружило их – поставило вверх килем. Виснет дружина гроздьями на порубе вдоль борта и на киле, пропадает водяной смертью.

– Ну! – вопят. – Сгубил ты нас, купец. Не оборошила и крестная сила, не выручила удача!

Страшно расплеснулось Онего. «Святой Николай, помилуй нас!» – только и успели молвить корабельщики. Раскатистая волна ударила соемку о каменистый берег. Бросила на песчаный приплеск. По верной молитве гибнущих встали там – и теперь стоят! – четыре малых отока-острова.

... Лежат мореходы на озёрном приплеске, в небо зрят. Летают над ними чёрны вороны, а сесть не смеют: не пускает неведомая сила! Витает над гребцами недопетая песня:

*Ты печаль моя, досадушка,
Пуще ветра сушишь, пуще вихоря!
По чисту полю разносишь травушкой кошеною...*

...Самого же Ивана, сказывают старые люди (а им не врать стать!), на остров Великий вынесло. И вот уже пятьсот лет слывёт этот остров у нас, заонежан, Большим Климецким.

Вот очнулся, встал на ноги Иванушко-купецкий сын. Жив ни во день. В губах крови нет. А провёл руками по одежде – сухая, вот диво-то. И целёхонька! Каftан вишнёвого сукна, петли золотные, испод соболий. Колпак парчёвой, отвороты сибирского сболя тобольского. Сапоги зелёные – казанского узорного сафьяна. Будто у него и в воде не бывано, бурей по волнам не ношено. Велико милосердие Господне. Велика и сила молитвы от сердца.

А поднял голову Иван Климентов – и увидел в хрупком ельнике предстоящего ему благолепного старца в святительском одеянии, в белизной сияющих крещатых ризах, в омофоре. Десница старец Ивана

благословляет, в шуйце же у него – в левой, значит, руке – икона Пресвятой Троицы. Светится старец, словно сребркованый. Истинно рекли мужи древности: «Не хвали красу юных, она преходяща. Подлинная краса – духовная – приходит с сединами».

И ветры унялись, вот диво-то. Пала на озеро и опять бёла тишина: такая на Онего лосинушка шелковая – не сморщит!

– Святитель чудотворец Николай! – узнал, позвал старца Иван Климентов. – Жив я и здрав, исполять тебе! Но где же братовья мои, заединая дружина?

– Восстань с колен, сынок! – сказал святитель. – Не бойся, гребцы твои отвеку на четырех островах-отоках станут держать за буйные крыла четырёх ветров, четырёх паветерий. Чтобы летали ветры годно, ладно, без душегубства и лютости. Не томили бы мореходов беспросветной белой тишиной, не вздымали бы противу путников бурь-водохожей!

И открылось страдомому купцу чудное видение. Стоят его гребцы, удалые товарищи, подобны светлым ангелам, словно свечи горят. Говорят кормщику и господину своему в тихом веселии, не клоня головы:

– Ништо, хозяинушко! Утопли мы – ладно. Так, видно, Господь судил. Вынесло нас на сроду нам суженое место. Так тому и быть. Не всё, знаешь, с горы на белом коне. Жили мы, сам знаешь, в труде, холоде и голоде, грехи наши – с хлебушком съесть и водой запить: невеликие. И ныне послужим Господу и добрым людям, сподобимся: станем пути отвирать в Онего сине море страховитое. А ты, купец, послужишь Господу в иноческом сане...

Так и стало – да и поныне. Деды-падеды наши знали эти острова Крестовыми Братьями. Теперь же на лоциях обозначено – Климецкие.

...Бежиши мимо Климецких малых островов, а от Гарницкого маяка будто песней повевает. Словно бы там, в заливе-губе, рыбачит кто-то, напевает. И не один, а с дружиной сам четвёрт, с удалыми товарищами. Слышал ли когда?

*Старое. Присловье – не мимо молвится:
Отец, небесный, аки земной, любит нас
и, наказуя, милует за грехи
вольные и невольные.
АМИНЬ.*

Виктор ПУЛЬКИН,
член Союза писателей России,
заслуженный работник
культуры Карелии

Северная Финляндия*

(поморские легенды)



...Бьется в заливе Белого моря стражень таёжной реки. Выбежала Кереть из приполярной сутемени. Берега – каменные теснины – мерцают кристаллами гранита. Вспыхивают зеркальцами спруды. Река родит перлы. Встречаются чёрные жемчужины. Ходит в потоках вод, то солёных, то пресных, серебряная в крапинках сёмга.

В преизобильной красотой округе – ни дымка. Смертно остывает на краже знаменитое, ныне покинутое любыми село с почти тысячелетней историей – славная традициями поморская Кереть.

На околице Керети – обетный крест под ветхой двускатной кровлей, увешанной лоскутьями истрапанных буйными ветрами полотенец. Лицевой стороной обращено это «животворящее древо» на восток. Перекладины кажут помору направление на север и юг. Такие кресты служили долгой и верной памяти о знаменательных событиях. Супостата ли отгонят от жилья, волки ли отстанут от припознавшейся подводы, путника ли настигнет нежданная кончина в пути, просто ли надо освятить место перекрёстка-

«росстани» – везде ставили такие кресты. А нередко ими отмечен въезд в селение.

В поморском же крае кресты, видимые рыбаку с моря, служили и навигационными знаками, как, скажем, церкви, часовни с их звонницами и колоколенками.

Скидывал колпак промышленник, «бегущий парусом» с Мурмана ли, на Грумант, на траверсе Керети, завидев знакомый крест или чёрный каменный гурий – каменную кладку. Здесь, вот уже четыреста лет, место духовного подвига святого Варламия, почитаемого мореходами как спаситель в «Студёном море, дышущем окияне» ...

На гребне высокого берега, в медностволом бору – старое кладбище. Похрустывает под ногами голубой олений ягель. На пирамидках под крестами, звёздами – имена, знаемые по ветхим Писцовым книгам, по изустным преданиям честной старины. Иные – по вчерашим рассказам в рыбакском приюте, неутолимо зрящем на блистающий плёс, «тоневой» избе.

* Продолжение цикла. Начало в журнале «Север» №2 1998, №10 1998, №1-2 2008

ЛАЗОРЕВЫЕ ДЕЛЬНИЧКИ

Керетчане, выходцы из зореного села, живущие в поселке горняков Чупе, сказывали: жил Варлаамий во времена Грозного царя. Книжное учение постиг на послушании у соловецких старцев. В зрелые годы поставлен священником в Коле. Жену взял светлую, непорочную дочь предшественника, настоятеля храма. И что праведнее жил Варлаамий, то пуще разгоралась злоба диавола. Настал престольный праздник Николая, святого архиепископа Мирликийского. Священник литургию правит. Антихрист на ухо ему срамные слова шепчет. Испускают иеря. Кадило гаснет. Свечи задувает. Не много преуспел нечистый, много потрудясь. Дверь схлопнула: «Погоди. Кубарем завьёшься».

Горбатой нищенкой перекинулся. У паперти притулился. Из-за пазухи, из рванья-рибушья голубеют у бабушки дельнички – золотное шитьё. Варлаамий возвился: «Откуда у тебя, убогая, бархатные надлонки, устюжский узор?!»

– Не погуби, отец святой! – нищенка возопила. – Давалась в твои хоромы за милостынькой. Уведала – ужасти!

– Скаркай беду, седата ворона!

– Своими глазыньками... Жена твоя, лебедь белая, обнимала-миловала сокола-заморянина, купца из Варзуги! Мне, змея, и спрограммировала: «Не срами за слабость женскую! Никому не сказывай. На том тебе поминочек», – тянет из коробейки рукавички лазоревые...

Охапил поп голову руками:

– Шкатулку резной холмогорской работы – моржовый клык – купил я в Каргополе. Сам положил туда и вачаги женские!..

Горе припало. Подхватился – и домой! А диавол ему в руки клинок стальной. Ослепил очи гнев. В избу иерей вбежал. Рассёк жене белую грудь. Опомнился, глядь, а на полке-воронце белеет коробейка резная, дорогой «рыбий зуб». На замочек заперта. И ключ у самого-то на поясе. Открыл шкатулку – цепы дельнички. А в окошко глядит-россмехается да-вешняя нищенка. Из-под сарафана – склизкий хвост синими кольцами. Изо лба – роги! Возопил поп. Супружнику к сердцу прижал. Сбежал с ней к причалу. Уложил тело лады в чёрный карбас. Отпихнулся от берега. Ушёл в морскую голымянь за окоем. Затворился туманами.

Помнят в Поморье, на Летнем берегу и на Корельском. На Мезени сказывали. Слыхали в Умбе,

Варзуге и на Онеге-реке, да и в самом Архангельске. Неутолимо обретался Варлаамий в море с парусом и вёслами. Втемнях и на алых зорях. Псалмы Господу пел. Молил о прощении грехов. Море его хранило, окутывая белыми туманами. У норвежских рыбаков жило присловье. Ляжет мгла, молят: «Русский поп жену повёз!»

Окликали Варлаамия с лодий и кочей. Жалели грешного. Звали уху хлебать на берег, в становище. «Не достоин! – ответствовал Варлаамий с синя моря. – Вот приеду в оленьей кережке, тогда пожалуйте, поставьте в поминовение о грешнике крест. Дотоле не быть мне с людьми». Плавал Варлаамий тысячевёрстным путём – от Архангельска до Колы. Ветры его не опруживали. Звери морские не трогали. Только черви ледовитые у Святого Носа ополчились на страдника во множестве. Набои карбаса грызли.

Восплакался Варлаамий ко Господу: «Дай мне, Боже, на Студёном море чащу покаяния до дна испить. Не погибнуть честной морской смертью раньше времени. Пострадать! Если простил грехи, принял молитву – истреби, Царь Небесный, тварей морских, червей ледовитых. Чтобы вольно русским мореходам в Студёном море, дышащем океане на промысле быть, детей кормить».

Поныне знатко по всем берегам Белого Гандвики-моря – великое чудо свершилось: изгнал Господь гадовьев.

...Получив от Бога знак прощения, стал Варлаамий отшельником. Поселился в малой пустыньке рядом с Чупской губой Белого моря. Неподалёку от Керети. Но приходили на ближнее болото то лоплянки, то корелянки. Русские души – красны девицы брали жёлтую морошку. Удалился Варлаамий дале в лес от женского смеха, от песен, от ауканья. Во глубине чёрной тайги, вёрст за двадцать от человеческого жилья, опреселился в расщелине скал. Там допрежь слюду добывали, близкучий мусковит. Осталась «дедовская яма» – нора саженей в двадцать. Из земных недр денежно и иощно слышался напев Варлаамовых молитв.

...В прежние времена черёмуховой корой чернили полотно – холст и домодельное сукно. Пошёл наш, керетский, лыко драть. Да ловушки поставлены по отцову путику в суземье – на рябцов, тетеревов. Идет... А тихо в лесу, несвично: не слыхать Варлаамиева напева! Опустился мужичонко в слюдяной рудник. Вынес тело новопреставленного Варлаамия. Чёрен, изнурён поп. В пещерах-то копоть, сырость: падеды слюду кололи разжжением огня, водным остужением породы.

Поплакал над Варлаамием керетчанин. Глаза ему закрыл. Поскакал с кочки на кочку из заболотья. Надо лошадку у керетских купцов просить: Варлаамия привезти, земле предать. А не дают толстосумы-нёруси. «Кони, — говорят, — работные. Олени об эту пору на островном выпасе. Нешто на выездных лошадушках трупью из болотины волочить?» Пришлось бедному человеку в кережку — сани на одном полозе — впряженуться. Привез Варлаамия. У алтаря церкви положил. Муж-керетчанин на мёртвого свой лучший кафтан вздел — суконную однорядку, крашенную черёмуховым лыком.

Через малое время мужик на морском промысле житьем поправился. А богач, что пожалел коня дать, на воровстве попался, в остроге сгас. Божий суд скор, праведен. День памяти святого преподобного Варлаамия Керетского — 19 ноября по новому стилю.

...От беды никто не заговорен. Даже и Божий храм. Когда уже были обретены моши святого, явлены его неисчётные чудеса на водах, загорелась церковь. От пожара кережку с телом преподобного унесли керетчане к реке, к Жемчужному плёсу. И, где полоз кережки дорогу прочертил, там пробежал по лугу ручей, поныне слывущий Святым. Вставшая валом вода моря достигла по ручью гари. Потушила пожар. Моши вернулись к храму.

— Святой Варлаамий у нас — из самых чтимых! — говорят его земляки. — К нему да к Николе-угоднику мы ухожи, привержены. С Божьей помощью истребил он лютость ледовитых червей. Но страшные сувои у Святого Носа остались. Схлестываются встречные течения. Губят корабли. За святым Варлаамием — неисчётные спасения на водах. Помогал тем, кто вызвал к нему. И тем, что не поспел возвратить. Дивные явления святого — в тъмочисленных сказаниях, передающихся от сердца в сердце. Вот одно из них.

...В наших местах издревле — тысячу лет тому — распоселились удальные промышленники — рыбаки, зверобои. Шли с неохотой. Места дикие. Зимы долгие. Море лютое. Сперва жались к лесу — остерегались прихода немецких людей. Окреили — стали селиться у приплеска. В устьях рек ловили дорогую рыбу. Били зверя — морского и борового. Копали слюду. Добывали жемчуг. Да наехали воеводы...

При царе и великом князе Алексее Михайловиче сидел в Коле, на Мурмане, воевода Гурий Волынцов, сильный человек. Занедужил. Ждал смертного часа. Опопночь явился ему в горенке иерей с белыми усами и брадой. В русском домодельном кафтане.

— Пошто лежишь, воинник?

— Ступай вон. Не зван.

— Христос послал.

Возроптал Гурий на немочи: в невеликих летах принуждён проситься с Божиим миром. Сказал полуночный иерей, возложив руку на рамена Волынцева: «Будешь жить. Служить царям. Возвысишься подвигами. Бог не оставит». Махнул рукой царский слуга: «В чём моя укрепа?»

— Откажись от ярости на болезнь тела. Возьмись дух. Не те корабли хороши, что сохранны в затверке. Но те, Гурий, достойны, что, не смущаясь взводнем, не теряют стремления к причалу и в зельную бурю. Так и люди: крепкие духом, противостоящие злу смиренно, воистину велики.

Воевода насмешливо махнул ослабевшей десницей. Отвернулся к бревенчатой стене. Проговорил с досадой, натягивая корельское, шитое из жёлтых овчин, одеяло: «Не от греческих ли древлих Отцов церкви баешь? Оставь. Читывал я и апостолов, и Платона с Аристотелем. Что в том? Из праха восстал, в пепел обращусь».



Подошёл иерей к киоту. Воссияла цветная лампада.

Сказал:

– Не освящённые словом Божиим, не воспринявшие в себя Духа Святого, немотствуют. Не затворяй сада души, Гурий! Не льют благовоний ни в грязный, ни в закрытый сосуд. Кроткой мыслью умали гнев. Не успокоишь мучительность дум – обернутся болезнями тела.

– Не жил я, поп, – проговорил Волынцов. – Не видел земной радости. Служил государю: ехал куда велят. И вот – на краю...

– Тяжек камень. Ярость отчаявшегося тягостней. Истребляет душу. Ослабляет тело. Сокращает дни служения царю земному. Отвращает от пути к Царю Небесному. Просветись спокойствием, любовью, кротостью.

– Кто ты, врач души моей?! – восстал с ложа воинник.

– Умой лик. Помолись. Сокрутишь в лучшие одежды. Я – грешный Варлаамий из Керети.

Они встали перед иконой. Пылко горела лампада...

– Душу воспитывай, как князя. Тело – как воина. Не позволяй, Волынцов, воиннику князем повелевать. Вон сойду. Будешь здрав.

Лёг воевода. Освежился сном. Вышел на пристань, окликнул встречного: «Где держит останов Варлаамий из Керети?» Слышит ответ: «Давно умер чудотворец. Моши его близ церкви святого Георгия в Керети. Да вон бегут морем мужи-керетчане!»

Воевода своеручно принял от керетчан конец канатный. Привязал карбас к кнекту. Отшатнулся седатый кормщик, увидя в руках воеводы кожаную кису с деньгами.

– Прими, старинушка! – молвил Гурий Волынцов. – Устрой в Керети сень над Варлаамовой ракой. И крест... Благодетель мне чудотворец. Благовозвестник, врач. Я ему – вечный молитвенник.

* * *

Пропозднилась наша беседа в тоневой избушке. Иsgас осенний день. Верхами дерев пробежал морской ветер-сиверик. Мой пожилой собеседник уютно примолвил, отходя ко сну на жёсткой лавице под жёлтым тулупом:

– Святой чудотворец Керетский Варлаамий, дедушко поморский, моли Бога о нас...

Спаси и сохрани!

РУССКИЙ БЕРЕГ

Александру Васильевичу Зуеву

В море три воли. И первая – корабельное мастерство, плотницкое искусство. Не одиножды помянем в волнах и во льдах строителей карбаса ли, шняки. Вторая воля – веление верного кормщика, от юности своей до дивией старости живущего артельным побытом и морским знанием. Но над всем – Его Господня воля.

I. Груманланы

*Пала пороша на татую землю,
На татую землю, на злые кореня.
Повеяли ветры за чёрные скалы,
За чёрные скалы, за синее море.*

...**М**ы – мореходы. Горе великое и радость без берегов – Студёное море, наше вечное погле. Восемь ветров бьют, бросают кораблик в открытом просторе синей голымяни. Сумей соблюсти путь. Ведом нам звёздный лёт. Знаем норов ветров, подводных течений. Исстари компас зовём «маткой» – на «матку» надежда.

Лучший ветер нам – «летний», «русский» – южный. Хорош и «шелонник» – юго-западный. С ними бежим на промысел. «Сивер» бьёт туманом, томит взводнем, слякотным дождём. Морозно, угрозно море! Взнимется «восток» – восточный ветер. Рыба уйдёт в глуби. Воду и землю рвёт люто «восток», счёсывает с волны ценную гризу, лютеет штормом. Коровищами взревут великие волны. Гребёт дружина в становище, на матёрную землю, от усердия вёсла ломят.

Вот выстанем мы «на гору» – твёрдую землю. Придём в тоневую ли хижу на семужьей реке, в стан ли на мурманском берегу – там, на Зеленухе, Териберке, на Гремячей. На зимовье ли груманланском ждём весны. Сядем мы, побратимы-промысленники, страдомые покрученники, у огня живущего. И заведёт любимый баюнок про Ивана-царевича, Василису Прекрасную долгую повесть, а то сказ про богатырей и князей святогорских буйному морю на утишение, людям на утешу. Вспомнит с тихим сердцем сказание про отроказуйка. И мы с ним воспомним же.

...Вот что, ребяты, было, на веку происходило. Собрались наши деды-прадеды на промысел. Отстояли, как следует, молебен. Кормщик Нефед Мехнин, со

смирением завеся очи седыми бровями, поставил особую пасхальную свечу святому Георгию Победоносцу. По-нашему сказать – Егорию Храброму. И сказал от сердца, с припаданием к святой иконе:

– Звезда святая, явися! Мучителей низложи. Сокруши демонов дерзости. Молитвою перед Господом спаси души наши.

Поклонился Нефед земно, из храминки вышел прямиком к лодии.

На ту пору стояло на востоке моря, дышущего окияна, «солнце на столбах»: пали лучи отвесно за окёём. В кораблике-шняке артель, котяна известная: весельщик, наживочник да тяглец. А тут мальчиконка с крутояра сбегает – волосёночки ветром со лба сдувают. И давается ватаге во товарищи: «Пригожусь!» Обликом словно белек, детеныш тюлений: волосом светел, а глаза – угольки чёрные! Наши уже и сходни сняли: «Ты откуль взялся! Какого роду-племени?» Одно твердит:

– С вами в море! Зуйком...

Брали, конечно, ребятишек в море, вроде юнг – зуйками по-нашему.

Глядит светло, твёрдо. Вид честный. Человека по лицу видно.

Именитый кормщик Нефед Мехнин очи отвел от того блестания.

– Ладно! – говорит. – Только смотри, в дружине самоволью не будь. А в остальном у нас, парень, так: брюхо да руки – иной нет поруки. Окажи усердье, будь во товарищах!

Чалку обрубли. Бегут под парусом с распольной водой, с доброй поветерью, с ветром-шелоником. Прибавился у них в заединой артели голос:

*Грумант остров-от страшён,
В круг горами обнесён,
Злыми льдами обвышён
И зверями окружён.*

– Веселее, браты! – велел Нефед. Крепче ударили вёслами, пуще вострубли:

*Но отвеку груманланы
Не боятся океана!
На горах песцов ловить,
Медведей, моржей добыть
Верной пулей и копьём
Мы бежим за окёём!..*

Светел на море месяц май. Да не гораздо тепло и в

июне. Играет в близкучих волнах зельдь. Поёт, славит добрую поветерь чиненый парус.

…Стали мореходы Нефедовой ватаги примечать: костью тонок зуёк, взгляд девичий, кудрява голова – а могуты паренёк непомерной! Коршик вачаги кинул: «Выстирай, заскорузли!» Стал малец кожаны промысловы рукавицы выжимать – наполы разорвал эти дельницы, тяжёлые голицы!

– Ты што, дитя! – Нефед ручищами развёл. – С умыслом али не ведаочи?

– Прости его, Мехнин! – Лодейная артель пчелиным ульем загудела. – Зуёк, видно, края своей силы могуты не знает. Душу простую, ясную не кори!

И заревели мужичинья на всё синее море жалостную песню зычными голосами. Головушками поматывают, как секачи моржового стада-юрова, душевно выводят:

*Не кукушица во бору куковала,
Не царевна в терему горевала!
Уж как сам я, добрый молодец, стосковался,
Малым-мал от матушки оставался.*

А лето разгорелось столь красно! Солнышко незакатное, море неумолчное… Там, на Гремихе, Териберке, Рынде, на Мурмане полуночном, на дальнем Груманте, куда отвеку ходили прадедушки, боятся в узлистых суровых сетях рыбы косяки. У океанского приплеска стаи неисчётного зверя морского воют, словно ветры. Валятся под стальные жегла наших копий, под литые тяжёлые пули добытчиков тюлень-крылан, белуха – полярный серебряный дельфин, чёрная нерпа. Брали тогда и могучего моржа…

Опустим частые яруса наживленной на крюки малой рыбёшкой, чаючи трескового, палтусного улова. Насставим мережи, кононглияные убеги, морды, плетёные из красного ивняка. Спим-храпим, повалившись на доныя карбасов ли, на лавицах у окошка сторожкой промысловой избы в рябинушках там, окрай дышущего моря. Волна байкает нас, поконт-припевает. Но придёт пора! Великие воды вострубят старому коршику: «Восстань!» И мы воспрянем от дрёмы. Наденём тяжёлые дельницы, возьмём кротила. Летучи, скоры летние дни. Пройдут-проплынут они косяками серебряной зельди. Прокричат белыми чаицами. Махнут алыми крыльями зорь – да и нет их. Жди-пожди новых.

…Напромыслив довольно, бежит вспять Нефедова лодия. Ветер с тугим парусом поговаривает, со всякой корабельной снастью. Коршик с дружиной заединую морскую песню поёт. И зуйков голос в том пе-

сенном поле – колос. Складен стал за путину. Густая уха с балками – тресковой печенью – силу даёт. Взгляд весёлый. Поступь скорую. И бусы – куртка – по плечу, вся рыбацкая одежда, справа. Стало быть, вошёл зуёк в полную силу-размысел. Тому старшие радуются: «На другой год весёльщиком пойдёшь с нами!» Скоро, споро возрастаём мы, поморы, на солнечном ветру. Крепим в себе русский дух.

В окияне мачта прядка, да иной раз и жизнь коротка! Зато когда вусталь поработаешь – сколь каша сладка! Котляна – корабельная артель – словно кровная родня. Берегут зуйка: «Остерегись, парень! Жилу не сорви, работай в свою меру. Побудешь весельщиком – потом тяглеком послужишь артели, наживочником. А там, глядишь, и в коршики выйдешь! Работы на твой век хватит. Главное – будь откровенен и прост – всего достигнешь».

Веселы – ведь домой идут. Иное дело – промеж себя говорят, от зуйка украдкой, цветны бороды содвинут во единый круг:

– А што, ребята-мужики! Ведь там, на высоком глядене, каменном холме, на чёрном Кильгине-острове, ходит-ждёт Бесчестный Воин! В Норвегу ли бежишь, с Груманта ли возвращаешься – грабежа никак не минуешь*.

– Нам привычно. А зуёк, поди, не стерпит морского разбоя. Чист он, добр, словно ангел Божий, правдив. Куда ему противу Бесчестного.

Взялась им на счастье мати добрая поветерь. Положили они вёсла, отворили паруса. Возопили корабельную песню:

*Не часты дожди берёзушки обрызгали,
Не люты морозы полюшико озноили!
Пообрызнуто сердечушко, ознолено
Всё заботою морскою непомерною...*

II. Велико на море имя Божие!

За Вайдагубой в Баренцевом море всплывает Русский берег, «зарумянится корелка» – покажется на востоке зоря над матёрой землёй.

Старичонки с Нефедовой лодии бороды закусили. Он, ребята, когда бывал, морской-то разбой! Многие века прошли-пролетели. Но и поныне его помнят, о

татях рассказывают. Стали весельщики с наживочниками, сам Нефед Мехнин к зуйку приступаться:

– Што! Плетью обуха не перешибёшь. Может, еще и не всю добычу из лодии повыгребёт. Бывали случаи – оставлял на разживу...

На то зуёк разумно сказывал-звенел:

– Мореходные книги-лоции да и старики наши изустную память сохранили, поведали правдиво: ради кого жить хочешь – за тех погибнуть не страшись! Не ищи битвы и не уклоняйся от неё...

Подивились корабельные люди: «Эка, молчун! Провещился!»

– Какие твои лета! – Нефед нахмурился. – Тебе ли, парень, о бое мыслить!

– Жил славный Александр Македонский! – ответствовал на то разумник, начитанный от философов. – Собрался в поход. Учитель его, премудрый Аристотель, молвил: «Не ходи! Дождись совершенных лет!» На то ответствовал Александр: «Пойду ныне. Боюсь, достигнув возраста, утрачу воинскую отвагу!»

Зуёк напомнил коршику Нефеду дела Давида, победившего страшного Голиафа, сказывая от Писания. И Нефед, сливший книжным человеком, положил тяжёлую руку на плечо зуйку:

– И что на то ответствовал Аристотель? «Твёрд тот, кто побеждает желания, а не воинов. Совершенен тот и храбр, кто себя одолеет, действуя от разумения, а не от порыва юности».

...Кильдин-остров зачернел на окоёме. Сгрудились поморы у передней кокоры-штевня. Глядят неутолимо. Гора и гурд – приметная куча камней – на кряже. И огонь разложен, чадит на всё море. Бесчестный Воин по лещади береговой, по няше ножищами загребает. Гремит, что дальний гром.

– А ну, поворачивайте сюда! Гостить у вас стану!

Ручищу вытянул. За корху, штевень корабельный, взявшись, лодейку Нефедову на берег выплеснул. На поморов глянул – у них и парус свянут, в губах, понимаешь, крови нет...

– Может, ребята-мужики, сильны учинились? А потельте! В поле, известно, две воли. Да у вас и лук тут, и сабелька поржавела, ах-ха-ха!

Возрос Бесчестный велик, страшен. Рожа – до пояса. Зад – до пят. Кольчуга на нём чёрная. Топор-оскорл, узко лезвие – на плече. «Выйду!» – прозвенел отрок-зуёк, словно гусельная струна оборвалась.

* Народная памятливость неожиданно для меня подтвердилась в историческом исследовании Сергея Аксентьева «Остров и корабли», посвященном о. Кильдину («Север», 2006, №5-6. С. 248). Автор сообщает, что в начале XIX века остров был притоном английских пиратов.

Расступились браты-корабельщики. Глядят – глазам не верят!

Воссиял юноша золотыми доспехами, серебряным копьём колеблет. И не зюйдвестка на нём, – алый плащ шумит. Всяк узнает теперь в былом зуйке, юнге рыбацком, самого Егория Храброго – славного свято-го великомученика Георгия Победоносца. И вот – соступился он, угодник Божий, с чудом морским и бесчестным в смертном бою.

А не мимо молвится: «Не в силе Бог, а в правде!» Без отпяtkи бился паренёк. Сломил Воина кильдинского, напоследок выше себя вздел его черева. Да и озёмы грянул морского разбойника. Обернулся нечистый змеем лягчайтым. Хотел было под каменья улезть, под прибрежную кокору, не сказавшись, под которую Его зуёк серебряным копьём уловил, уязвил. Рассыпался змей чешуйчатый на многое число склизких морских червей.

Старики бывалоны сказывали: долго жили эти черви там, в Баренцевом море и у Каина Носа. Окаймные такие: точили деревянные нашвы-набои, корабельный шпангоут, тоили промышленников. Их поморский святой, блаженный Варлаамий Керетский, избыл их верным заклятьем, согнал Божиим именем.

* * *

Мы и теперь, когда мимо Кильдина бежим – шлыки снимаем, молвим с крестным знамением: «Велико на земле и на море Имя Божие!» В правом деле Господь послал нам верную и скорую заступу – своего угодника, молодого Егория Храброго.

И вот в Керети-озере, у Кандалакшского залива там, поставили храминку святому. Уходя в море на венование – весенний лов, в мае, аккурат в день святого Георгия, – отмечали мы там, на угоре, престольный праздник. Приворачивали к нам с моря и морские крестьяне с иных ближних и дальних поморских сёл. Всей поморщиной-корабельщиной призывали мы на помощь себе святых – Егория, Николу и Варлаамия. И с особенным истовым припадением молились заступникам матери, оправляющие чад на промысел зуйками-юнгами.

Теперь всё кончено: церковь порушена и Кереть брошена...

...О, наше море – поле дедов-прадедов! Бежим, бывало, у Чёрных скал, где Калгалахса. Глянешь это за карбасный огибень. Под водой цветы узорные – будто рога неисчислимых оленей колеблются, сплетаются – живут!

На небе ясные светочи – да и во тьме глубей топырятся живые шершавые звёзды. Рыба-камбала, лёжа на боку, зрит с отмелых мест, грязь на солнышке. Веет водорослями, честной стариной, старобытными сказаньями.

Свеж, влажен воздух, сырьо и чисто. Будто в родимой избе, когда добрая хозяйка, намывая тесовые полы, стены и тесовые лавицы, нежалимо оплеснёт жильё-жирушку водой и дресвой натрёт с усердием любви. На поду горячей печи, метенной тетеревиным чёрным виорозелем крылом, улыбается молодой хлеб. Люб суворому помору семейный уют, заботная женская ласка.

Но уже белеет на окоёме, морском горизонте, белья. То, знают поморы, отражаются в нашем низком, слоистом небе подступающие, как печаль-невзгода, ледовые нивы. Грозным сквозистым холодом тянет моряна-ветер. Станет зябко, знобко телу, весело сердцу, простиорно душе...

Ради доброй артельной судьбы отрекись от тёплого угла. Тебя, как прадедов, сlyшишь, зовёт несосветимая даль. Вздымается великий ветр – корабли уходят от берегов в сизую неприветную голымянь – открытое Студёное море, вечный Гандвик. Иди, а станешь жаться к берегу – побьёт о камни-отпрыдышы.

Будь смел и натурист. Запевай братскую песню.

*Ветры вы, ветерочки,
Лёгонькие голосочки!
Вам, ветрам, тянуть ли, веять
На мой ли на белый парус
От синего Гандвика-моря
На корабельную пристань,
На православную землю –
На ласковый Русский берег!*

Бог спасёт...

В СТРАНЕ СКАЗОЧНИКА

...С приполярного севера обвеличивает Россию Белое море. Таёжное изножие нашего края – на узорных гранитах Ладоги и Онего. Мы – отвеку рыбаки и мореходы, строители кораблей.

Затворяют ворота в Карелию суворому ветру «сиверику» высокие наши леса, корабельные боры. Сосны у нас впуро корабельным зодчим – красные, «рудовые», «кондовые». Древесина их – знают мастера-«древодельцы» – плотная – мелкослойная, прочная.

Годится в дело берёза-красавица и серебристая плоть осины, даже черемуховые ветви и коренья.

Мы, русские, за тысячу лет своей жизни в Карелии сроднились со здешними лоплянами-саамами, корелой, весью. Олончан знали по всей России как мастеров храмового ли, хоромного или корабельного строения. Старое и необидное нам прозвище – «плотники»! Славимся честью и розыском. Возросли на «лесах» срубов и на стапелях судов речных ли, озёрных или морских. Да и поныне так.

От дедов-прадедов повелось – вставал ли дом, спускался ли на воду кораблик-белые паруса – приспевала конечная забота: надо одеть жилье ли, кораблик в резное узорочье, украсить резьбой и художной росписью. Красоте и сообразности этой работы дивятся многоразличные народы. Горницу в крестьянском доме, трапезную во храме, каюту лодии ли, коча мастер обносил лавками с подзорами, окна – наличниками. Изба, каюта не живут без стола, церковь не свята без узорного аналова. Потребны в обиходе домашнем, церковном и корабельном ларцы и поставы, дорожные сундуки-подголовники и невестины «коробья». Из дерева икона резная и писаная. Напоследок сделает мастер от доброго сердца игрушки хозяйственным ребятишкам, «бавушки». Коников ли. Крылатую мельницу, постукивающую пестами, как настоящая. Но обязательно среди желанных забавушек – крутобокая лодейка! Сызмалу зовёт-манит нас, северян, синий простор, озёрный ли, морской.

Всему миру ведома слава строителей Кижского ансамбля храмов, Кондопожской, Кемской церквей. Но ведь и они, плотники, владели искусством корабельных зодчих, живя на берегах Студёного моря и великих озёр.

Давно храню узкую еловую прялицу, память об отваге безымянного морехода – от старости седая, молодо светится она солнечным узором. Из штевня-кокоры карбаса, разбившегося на каменной отмели-корге, сделал её помор поясным ножом-кленником. Уже и не чаял спасения, а не хотел пустить уныния в сердце: грех, не велит того Господь! На острове-отрядыше в пустынном Белом море отважно сражался с погибелью: терпеливо покрывал лопаску прялицы прадедовским укорочьем. Огоревал, одолел зиму. Художным трудом спас и душу, и тело. Вызволил себя надеждой и красотой. По весне, с первой распольной водой, увидел на окоёме парус! Встретил братов-рыбаков весел, становит, обряден. Только головушка побелела... Вернулся в родимую

деревушку Летняя Река, что близ Кеми, и теперь живёт. Подарок жене Христине Лазаревне принёс – своедельной работы прялицу!

Годами и десятилетиями терпеливо собирая я в Карелии и сопредельных землях ещё сохранившиеся древни памяти – легенды и предания – о мореходах и корабельных дел мастерах, о святых, подвившихся в Обонежье и Поморье, чьим полем было море. Хочу рассказать о крестьянской мореходной культуре, о разнообразии судов, ещё вовсе недавно бороздивших просторы наших морей, озёр. Некоторые из описанных мною крестьянских кораблей бытуют, служат людям и поныне. Корабелами славится и современный Петрозаводск – город-порт шести морей, стоящий на перепутье и важнейших речных путей. Наша столица судьбой своей связана со становлением и развитием военного флота России.

«Кто в море не бывал, тот от сердца Богу не маливался!» Не мимо старики сказывали. А без моря нам не жить, как не жили без него на Руси и до нас. Вновь и вновь сбегали по «бежанам»-стланям, смаzanным медвежьим салом, в море ли, озеро, в речку удалые корабли и малые лодейки-лодки. Праздник спуска на воду нового судна называли у нас весело и метко: «в д е й к а»: «вдевали» кораблик в добровое плавание, в добрую поветерь. Осеняли себя крестным знамением:

– Ну, Господи, благослови. Поздорову бежать во си-нем море на все четыре ветра!

Страна поэта

– Дедушко мой, явись ко мне!
(Из сказки М.М. Коргувея)

Бродят по травянистому угору наезжие из недальних Чупы промысловые и гораздые рыбаки-старики. Они и приютили меня в прибрежной «тоневой» избушке, срубленной наскоро в рубиновых по осени рябинушках. Указали, где ближний родничок сладкой воды: «Но утром, когда гимн по радио играют, на ключ не ходи! Аккурат об эту пору туда приходит медведица с медвежатами. Московские новости передадут – иди, тогда безопасно!» Выслушав жизнерадостного московского диктора, беру коромыслу с вёдрами, пробираюсь меж рябин. В колоннаде сосен – погост, на пирамидах с крестами и звёздами – имена.

Одно из встреченных на погосте имён – Матвей Михайлович Коргувеев (1883 – 1943), всемирно известный

сказочник. Здесь же его знают и помнят как удачливого рыбака, колхозного бригадира. Эпитафия на скромном обелиске, поставленном дочерью великого сказочника, простая и сердечная: «Отцу за доброту и ласку, за волшебную сказку». Известный российский фольклорист Н. Криничная назвала Матвея Коргуева в одной из своих работ «поэтом моря и сказки». О М.М.Коргуеве писали Г. Фиш, К. Чистов, В. Базанов, Ю. Соколов и другие писатели и фольклористы.

...Рыбаки перевезли меня на карбасе через речку – и путь меж ольх да вересника указали как пройти в умершее село, на родимое место сказочника-помора.

...Веет сиротина-«сиверик», повевает, играет «досюльным шитьём» ветхих полотенец. Беседует со мной голосами преждевивших людей. Так бывает в покинутом, казалось бы, вовсе заброшенном селении, каких, к сожалению, немало на Русском Севере. Слыши словно бы въяве: «Мы, новгородцы, пришли сюда тысячу лет тому назад. Ничего, добры молодцы были – рыбаки и охотники, добытчики слюды. Начало коргуевскому роду дал Прокопий, Борисов сын. Женился на лоплянке. Пошли у них дочки да сыночки, выросла родова такая, что и дождём не смочить. Мы широко по берегу распоселились. На землю не надеялись, зато что в море добудешь, то и твоё: рыба и зверь.

Сбегают к вольной воде по угру тропки от рубленых домов, поставленных рядками в два яруса над берегом улицы. К банькам, амбарушкам, вешалам для сетей стекают, к лавам-пристаням. Скелетами елового рангоута белеют в траве былые карбасы с упорными профилями-штевнями. И такая живёт тишина – в ушах звон! Только всхлипывает, бъётся на ветру отчаявшаяся жестяная флюгарка, – печалуется, как покинутая в пустом доме собака. Хочет, видно, поведать о былом. Ну, скажи, скажи...

– Построили мы здесь великие хлебные амбары. Муку везли из Архангельска. Туда он, известно, поступал по Двине из низовых городов, с Волги... Стала Кереть славна хлебом и на Русском Поморье, и на Карельском берегу, и в залесье там, на озёрах. Из Финляндии приезжали купцы, из Швеции. Цвела хлебная и рыбная торговля и с Норвегией. Стояла на посудницах в избах дорогая фаянсовая посуда, привезённая из-за Норд-Капа. Повевало меж высоких срубов хором дорогим кофе, ванилью, корицей.

С карелами мы, керетчане, испокон веку кумились, роднились. Почасту гостевались: приезжали на престольные праздники. Ведь одна у нас православная вера. Иные и приезжали из-за леших озёр кореляне, строились, селились в Керети. Вот Киелевянены,

например, стали Коргуеву спорядовыми соседями. А это ближе кровного родства, сам знаешь. Мы, конечно, понимали карельский язык, они по-русски малтали-мараковали. Жить в соседях – быть в беседах.

Вот приедут карелы из своего суземья. За порогами на Керети-реке оставят свои лодочки. На берег их вытащат, выдернут из матики-эми затычки таппи. Пусть обсохнут лодейки. И носят по нашим кряжам-вересникам пятипудовики с рожью, пшеницей, овсом. Спросишь: «Не устал ли, рожоный, за десять вёрст к лодейке кули таскать?» Глянет из-под ноши, из-под холщового накомарника-кукаля синими глазами. Белыми ресницами склоняет: «Не-е... когда обратно налегке иду – отыхаю!»

Делали они, кореляне, на Лоухском озере там, морские карбасы. Продавали нам, поморам. Кормщик студёнко берёт-выбирает, как деву. Не раз обойдёт да присмотрится. Мы сами-то редко промысловые лодейки строили. Разве уж который старик, что на промысел уже не ходит.

Невест брали, случалось, из-за Кестенъги, оттуда. Но своих девок в залесье не отдавали, так повелось. Вот и Михайло Коргуев привёз себе жёнку из залесной Кушеванды, Степаниду Ванхала. Корелянка, выходит, и родила будущего великого русского сказочника, мастера героико-волшебных повествований.

Погиб отец Матюши в морском отосе на Мурмане. Такая смерть нам – привычное дело. Было тогда мальчионке шесть лет. С той поры стал сам зарабатывать себе на хлеб – в море. «Хотел бы поучиться», – сказал Матвей матери, когда в селе открылась школа. Та: «Будем голодать...» Будущий мастер слова остался неграмотным.

Крылатый Север

Вечереет. Сгущается синева, остыли старинных домов кажутся живыми. Так и ждёшь, что где-то в оконце блеснет огонёк. Но умерло село, только ветр-сиверик гуляет по улице, – и тоненько звенит-выпевает поморская флюгарка на облоснелом еловом шесте:

– Смолоду знал Матюша карельский язык. Ветру буйному на утишенье, в «белую тишину» – штиль – на пробуждение поветери пел и былины про богатырей святогорских, и карельские руны. Здешним ветрам оба языка сродни! – засмеялась, затрепетала флюгарка. – Он бавушник был, именитый сказок сказатель. Говор у Матвея причудный, с причокиванием и прицокиванием. Скажет – как птица пропоёт:

«Чарь и чарича сели на ичу. Вича сломилась – чарьство свалилось. Вот – жил этта парницок на белом свети...» И завёётся долгая – на весь осенний вечер – сказка. А самая у него любимая – про Севера! Вот будто бредёт паренёк, победная головушка. Лес клонится, гром накатывается: Север налетел! «Здравствуй, молодец! Позвали меня, ветра, волочить по морю семь кораблей. А не покормили корабельщики. Озяб я, осиротал. Помоги, человек».

На ту пору нашёл было паренёк в кустышках три яичка лесной пташки. Думал сам съесть, а скормил ветру. Тот и говорит: «Не могу тебя на крылья взять. Ослаб. А иди вот этой дорогой всё прямо». Идёт паренёк. Изголодался – на коленях ползёт, надо выйти из заповедного леса. И открылась ему в каменной горе дверца. Встала на пороге старушка: «Залетают сюда только волшебные птицы». – «А Север – он сын твой?» – «Его и опять на подёнку кликнули, бурлачить на людей: тащить двенадцать кораблей по синю морю»...

Слушаю, смекаю: представление о ветре, обитающем далеко на севере, легенды о таинственных обитателях полых гор – мотивы мифов семьи уральских народов, к которым относятся и карелы, – известны с античных времён. Следы влияния иноязычной фольклорной традиции исследователи находят во многих других сказках М.М. Коргуева.

Яркий тому пример: ведьма превращается в орла, преследует героя – так старуха Лоухи в сорок третьей руне «Калевалы» и в подлинных народных песнях, послуживших Элиасу Леннроту основой для её создания.

Поморский Цареград

Русская душа вмещает разноликую красоту и мудрость. Щедро делится собственной. Как тот паренёк из сказки Коргуева с обессиленным крылатым ветром-Севером. Пример жизни и творчества помора Матвея Коргуева показателен. С детских лет он – рыбак, матрос парусной шхуны, лесоруб, сплавщик. Работал на прокладке телеграфной линии в будущий порт Мурманск. Строил железную дорогу к незамерзающим гаваням Баренцева моря.

Были на заполярной трассе мадьяры, южные славяне, немцы, китайцы. Звучали в шалаших разнолицкие сказки. Впадали ручьями в реку севернорусской традиции. Но главными учителями Коргуева оставались сказочники-односельчане – поморы, корабельные люди.

Карельские геологи помнят Матвея Михайловича как надёжного проводника экспедиций, знатока «дедовских ям» – старинных выработок слюды. Той, что блистала в околенках хором и храмов Господина Великого Новгорода ещё на заре русской истории. Пластины слюды, называвшейся на Западе «мусковитом» (так как привозилась она из Московии), врезалась в околенки корабельных фонарей и помещений юта каракк, каравелл, галеонов – судов европейских держав эпохи великих географических открытий и последующих колониальных завоеваний. Есть древнерусское известие о керетском умельце-поморе, создавшем летательный аппарат из лёгкой, прочной слюды. Не оттого ли и у Матвея Коргуева появилась волшебная сказка о «комнатном аэроплане».

Через Кереть валом валил на становища Кольского полуострова промысловый люд – рыбаки, зверобои. Ночевали «покрученники» по избам. За постой нередко платили сказкой, песней, а то и легендой о святых. Славен и почитаем во всём Поморье был святой Варлаамий Керетский. В начале XX века противу села, на острове встал лесозавод. Сплавляли к нему кругляк по реке, морскому заливу. Пластили на тёс, дилены. Подходили к керетскому причалу корабли – каких только флагов и не увидела тогда рыбачкая Кереть.

– Распрекрасная тогда была наша Кереть! – звенит, погрёмывает забытая флюгарка. – Стояла на холмах – Цареград поморский! Улицы тёсом мощёны. По грязи керетчане ходить брезговали – мостки перед домом так-то нахвощут дресвой, голиком! Как в избе у хорошей хозяйки. Кур, поросят не держали век: шкодливая тварь. Да ещё петухи орать станут, ой! Нет. У нас тихо. Придёт помор – у него окиян неутолимо в ушах ревёт. Спит отец-кормилец на оленьей постели. Дети вокруг стоят. Молчат, глядят...

Резная кукла-панок глядит из жиловатой крапивы. Топырится на обветшалой кровле седой узор причёллины. Чёрные стены дыбятся в густеющей синеве сумерек. Да ведь это тот самый дом, который своими руками срубил Матвей Коргуев! Двухэтажные хоромы глядят на морской плёс, в котором бьётся белый бурун – стрежень таёжной реки. Верхняя, «летняя», изба полна света. В нижней окошки малы, зато холодной зимой можно спастись от стужи. Здесь у печки зимовала сказка. А верх нередко, говорят, Коргуевы сдавали геологам из Петрозаводска, давнишним товарищам сказочника по таёжным путешествиям и морским походам на острова.

В этом доме, знаю, вырастали и поднимались у Коргуева дочки-сыночки. Сюда возвращался он с моря и

дальних озёр. Потом – из столичных городов, после встреч с учёными, писателями, издателями книг его сказок. Поднялись, разлетелись дети. Только мать оставалась в прежней старенькой избушке: «Здесь век отжит...» Певунья, бавушница была корелянка. А как взяло море мужа – крылья и опали. Тихо пройдёт бабушка Олисава проулком с посошком: «Что было, что не было – всё равно...» Стихла, истаяла.

Волшебный корабль

Переменился ветер. Резво рванул юго-западный, называемый по всем нашим арктическим морям шелоником – по имени невеликой речки Шелони, что близ Новгорода. Осталась она памятной правнукам землепроходцев на тысячу лет, живёт в поморских говорах от Белого до Берингова моря. Встрепенулся, зазвенел флагок флюгера:

– Мы – поморы вековечные. Нам не пахать. Лошадей увезут летом на острова – отдохать. Оленей тоже отпустят. Ловят потом вольных – неделями. Ведь вся работа – зимой, в лесу и на морской ли, озерной тоне. Вечерами сказка живёт у коневых, оленных ловцов – летом. А житьё в промысловых избах на «лещих» озёрах и на морском побережье! Без сказки, без присловья, без песни одичали бы, взывли... Оттого за хорошего сказочника-баюнка, словно за доброго капитана-кормчика, говорят, артели бились берёзовыми плахами А залучив мастера, давали ему двойной пай, освобождая от тяжёлой работы. Вот и жило Слово среди корабельных людей... А и как же не быть сказке на семужьей реке, на жемчужной ловле, когда часами ждут, бывало, наши отцы-деды, когда войдёт царь-рыба в сети-гарвы. Тянется сказка. Чем она дольше, тем и лучше. Темной ночью спросит во тьме сказочник: «Спите ли, крещёные?» И если хоть один из очлежников отзовётся, повествование продолжится.

Верески в Керети сголуба-лиловы. Море налито в серебряную ендову залива. В июне, в пору белых ночей, карбас в море будто на хрустальном столбе стоит: уходит от своедельного суденка тень в придонную темень.

Вода легка, будто и нет её. Вижу моего Матвея въяве – как героя его волшебных историй. Вот идёт он путём-дорогой. Хлеба горбушка, ухи чумичка – всего ему и надо. Да ещё – весь белый свет. Сыт, весел, гновит и обряден. Рядышком серы зайки бегут – словно вицу вьют. Снарядил корабль...

Вот – поветерь добрая, паруса тянут. Снасти свис-

тят. Хорошо в море! Вышел на бак – глядь, плывёт вдали плавина. А нет, не утоплое это дерево, а чудное заморское царство встает из-за окоёма. Обвил его склизкими кольцами девятиглавый Змей. Душит, щемит, россмехается, поганый. Стелется по синю морю людской плач.

Стал мореход якоря катать, паруса ронить. Вышел на сказочный Калинов мост:

– Станем биться, проклятое чудище!

Одолевает поганый Змей, стоит крестьянский сын холодный, голодный, сонный. Всё труднее поднимать ему тяжёлый щит. В губах крови нет. Восплакался от сердца: «Дедушко мой, явись ко мне!»

И вышел, откуда ни возьмись, белый дед-падед:

– На котором камени плакал в малолетстве от обид – помнишь? Под тем камнем сберёг я тебе издавна коля богатырского, латы крепкие, меч-кладенец!»

Ободрился паренёк – и снёс головы Змею беззаконному, чужебесному! И молодая царевна сбросила оковы и вышла из погребов глубоких, змеиных, к мореходу: «Миный...» Расплескалась за окошком сказочная река, поплыли по ней золотые уточки и гаги. Запели на хрустальных мостах золотые канаречки. Упали с высоких дворцов серые мхи.

– Ну, что, прекрасная царевна! Пойдём в наше царство?

– Нет ничего краше родительской земли. Пойдём...

Построили земляки в память М.М.Коргуева трехмачтовое судно. Собираются здесь, в недальней от родины сказочника Керети, в Чуне, у морского приплеска на ежегодный свой поморский праздник «Сказочный корабль Матвея Коргуева» на исходе сезона белых ночей. Дети рыбаков, горняков, лесорубов вместе со своей учительницей Марией Афанасьевной Симаковой двадцать лет тому назад открыли в местной школе Музей сказки. Блистает экспозиция музея предметами заветной русской старины, картинами, рисунками, скульптурами, сработанными на темы сказок местными изографами и ваятелями. Меня пленили там крошечные девичьи рукавички-«вачеги»: по голубому бархату вился тонкий серебряный узор. Снегурочки бы их носить! Купил дочери в далёком Каргополе керетский помор...

Ожила Матвеева сказка, воскрешённая красотой старинного искусства.

Поэт и труженик моря

Корабельный человек Матвей Коргуев жил в суровой и прекрасной сказке. Детей в ней растил – своих и соседских питал древним словом. И сказки питал повседневной жизнью. Есть ведь у него – полистайте двухтомник! – и Матюша Пепельной: именем – сам сказочник, прозванием – брат Золушки и Тухимуса из карельской сказки. Найдём здесь Анну и Александру царевен, Ивана и Андрея-стрельца. Их ли именами назвал он своих детей, ребятишкам ли дал сказочник имена любимых персонажей?

Младший сын Матвея Михайловича, Андрей, и вправду стал «стрельцом»: в годы войны служил пулеметчиком на корабле Балтийского флота. Жена Андрея, Елена Прекрасная, всё время блокады Ленинграда работала на Обуховском заводе – отливала чугунные колпаки дотов. Андрей и Елена жили в Питере, когда я навестил их на Васильевском острове, в голубом адмиральском, с золотой лепниной, доме. Нынешние флотоводцы проходили у сына сказочника парусную практику: долгие годы служил он на учебном бриге «Товарищ» боцманом. Брат Иван погиб на фронте, дочери – жительницы Чупы. Они-то и рассказали мне многое о родной Керети, о своём отце.

Истинный ревнитель традиций корабельной стороны, Матвей Михайлович Коргуев умер, рассказывали мне его односельчане, «от полного скончания сил», в разгар Великой Отечественной. Тогда, в 1943 году, фронт близко подступил к Поморью, родине шестидесятилетнего мастера, поэта и беззаботного труженика моря. В рассказах тех, кто встречался с «баюнком», Коргуев простодушен, обаятелен и твёрд в слове и деле.

– Последний раз мы виделись с ним в 1938 году, – вспоминает известный фольклорист К.В. Чистов, – в Петрозаводске. Встретились у Филиппа Павловича Господарева, тоже одного из крупнейших русских сказочников XX века. Старики были в то время знаменитыми и чувствовали себя знаменитыми. Когда я пришёл к Филиппу Павловичу, они хлебали уху из одного горшка, что-то пили и оживленно беседовали. Жены Филиппа Павловича не было дома, иначе она заставила бы их хлебать из тарелок, «по-городскому»... Потом рассказывали поочерёдно сказки.

О мастере северного слова поведали древние памятни, некогда от него записанные, ставшие хрестоматийными книгами. Истоки мудрости великого помора – в величавой природе края – сурового и прекрасного нашего Приполярья, края замечательных мореходов.

Там округлы опущенные бором острова. Золото палого листа горит на студёной бирюзовой волне. Из-под него зрит, истомно лёжа на боку, странная рыба-камбала – и глаза на одну сторону свела. Тянутся к скучеющему солнышку осени шершавые морские звёзды. Узлисты, пахучи травы моря.

...Стремительно пали на село сумерки: иду почти во тьме берегом таёжной реки. Стала стихать в моей памяти осиротелая сказка, и одинокий покинутый рыбакский флюгер заглушен шумом воды в порогах. Но вот за излучиной реки мигнул свет в тоневой – промысловой – избушке. Всплеснули длинные вёсла идущего за мной чёрного карбаса. Воздетые штевни поморского судёнышка чётко нарисовались на живом серебре стрежня.

Боже, до чего же прекрасна страна сказочника, край полярных мореходов, отважных землепроходцев, покоривших Студёный окиян! И сколь печальна её участь – доля покинутой, осиротелой матери. Чтобы узнать душу русского поморского села – и Родины! – прислушайся к голосу её поэта, посети его родные места. Побывав «у Коргуева», я убедился в правоте этой уже не единожды высказанной мысли.

Но кто и когда, отважный, выйдёт на новый Калинов мост и постоит за родную печальную землю, за полновесное русское слово? «Дедушко мой, явись ко мне!»



Иллюстрации В.И. Пулькина